

СЕРГЕЙ КУМИРОВ



ПАМЯТЬ
ДУШИ

— КНИГА ВТОРАЯ —

18+

Сергей Кумиров

Память души. Книга вторая

<https://litres.ru/74042773>

SelfPub; 2026

Аннотация

В этой книге вы встретите 50 жизней, 50 откровений о том, что мы — не просто физическая оболочка. Мы — великие скитальцы, собирающие опыт в разных телах, эпохах и обстоятельствах. И самое прекрасное осознание, которое ждет вас на этих страницах: прошлое можно изменить, точнее, наше отношение к нему. И тогда меняется всё.

Я желаю вам не просто приятного чтения, а целительного путешествия.

И, как всегда, жду вас. Уверен, что вместе мы напишем еще не одну главу для следующей книги.

Содержание

Предисловие	4
Пепел и свет	8
Эхо южного города	20
Хозяин каравана	28
Одинокий пират	36
Две жизни, чтобы научиться любить	42
Я люблю этот мир	51
Пещера самурая	57
Погибший подводный мир	62
Лаборатория света	68
Сердце испанского революционера	73
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Сергей Кумиров

Память души. Книга вторая

Предисловие

Когда я ставил последнюю точку в первой книге, мне казалось, что я сказал самое главное. Но Душа — она как океан: сколько ни черпай, глубина только прирастает. Стоило закрыться одной двери, как тут же приоткрылась другая, и оттуда хлынул новый поток судеб.

И вот я снова сижу перед чистым листом, а перед глазами — уже новые лица. Пятьдесят новых встреч. Пятьдесят жизней, которые были прожиты не в учебниках истории, а в сокровенной тишине моего кабинета. И в каждом взгляде — застывший вопрос, боль, которую копили веками, и робкая, трепетная надежда на чудо.

Я приветствую вас, мои новые герои. Спасибо, что не испугались. Спасибо, что позволили душе говорить на своем древнем, образном языке. Эта книга сложнее и откровеннее предыдущей. В ней больше теней, но именно поэтому в ней так ярок свет, пробивающийся сквозь толщу веков.

Если первая книга была знакомством с методом, взглядом за горизонт, то вторая — это погружение на глубину. Здесь собраны истории, в которых человеческая трагедия достига-

ет своего предела: предательства, потери, изгнания и падения. Но знаете, в чем заключается главное волшебство регресса? В точке, где заканчивается агония прошлого, начинается невероятное исцеление в настоящем. В этой книге пятьдесят трагедий превращаются в пятьдесят освобождений. Это книга о том, как перестать быть заложником вчерашнего дня, который случился несколько столетий назад.

Я вновь низко кланяюсь своим Учителям. Руслану Эрсельевичу Мушаилову, чьи руки и слово продолжают возвращать людей к целостности. Сергею Ивановичу и Людмиле Геннадьевне Панченко, чьи наставления не дали мне сбиться с пути, когда материал для этой книги казался слишком тяжелым даже для меня. Ваш маяк горит по-прежнему ярко, разгоняя самый густой туман коллективной человеческой боли.

Моя безграничная благодарность Ольге Поповой. С материнской чуткостью и талантом истинного художника она вновь собрала хрупкие сюжеты душ в единое полотно, превратив рукопись в настоящее произведение искусства, которое сейчас согревает ваши руки.

Я знаю, что кто-то откроет эту книгу с недоверием. Кто-то скажет, что прошлые жизни — это игра воображения. Что ж, пусть так. Я не богослов и не судья истины, я — практик. И за время работы над этой книгой я снова и снова видел одно и то же чудо: когда человек осознает корень своего страха, идущий из прошлого воплощения, нарыв в душе прорывает-

ся. Уходят телесные зажимы, отпускают панические атаки, а на место вековой обиды приходит тихое, спокойное принятие своей судьбы.

Это работает.

Я прошу вас, читайте эту книгу медленно. Бережно. Не проглатывайте её за вечер. Некоторые истории, возможно, наступят вам на самую болезненную мозоль. Если к горлу подступит ком, а на глаза навернутся слёзы, — не останавливайтесь. Именно там, в эпицентре резонанса, и прячется ваше личное исцеление. Если какой-то рассказ покажется вам до боли знакомым, задержитесь в нём. Спросите себя: «А не моя ли это история?». Память души говорит с нами на языке чувств, а не фактов.

В этой книге вы встретите 50 жизней. 50 откровений о том, что мы — не просто физическая оболочка. Мы — великие скитальцы, собирающие опыт в разных телах, эпохах и обстоятельствах. И самое прекрасное осознание, которое ждет вас на этих страницах: прошлое можно изменить. Точнее, можно изменить наше отношение к нему. И тогда меняется всё.

Я желаю вам не просто приятного чтения, а целительного путешествия. Пусть чужая боль, превратившаяся в мудрость, станет бальзамом для вашей души. Выбирайте жизнь, выбирайте свободу от прошлого.

И, как всегда, жду вас. Уверен, что вместе мы напишем еще не одну главу и для следующей книги. Ведь у каждой

души есть право на слово.

**С неизменным теплом и уважением,
ваш проводник в лабиринтах памяти,**

Сергей Кумиров.

Пепел и свет



В моем кабинете полумрак и тишина. Лишь легкий аромат лаванды напоминает о том, что здесь вообще существует какой-то запах, кроме терпкого запаха человеческой души, решившейся на откровение.

Она сидит напротив — ухоженная, дорогая одежда, идеальная осанка. Успешный проект-менеджер крупной компании, три высших образования, квартира в центре, спортзал три раза в неделю. О таких говорят: «Сделала себя сама». И вот она сидит напротив меня, сжимая подлокотники кресла

до побелевших костяшек, и в глазах ее — сталь, которую она сама выковала за годы работы над собой.

— Понимаете, — говорит она, и голос ее звучит ровно, почти монотонно, — я не могу чувствовать. Точнее, могу, но только гнев. Он во мне постоянно. Иногда я просыпаюсь ночью и понимаю, что ненавижу все живое. А сердце... оно как будто в бетон залито. Я работаю над этим, я столько техник перепробовала, но...

Она замолкает. Я вижу, как сильно она сжимает челюсти — так сильно, что желваки проступают сквозь кожу. Это привычка, которой она не замечает. Привычка сжиматься, готовиться к удару, даже когда никто не собирается нападать.

— В вашем запросе вы написали «закрыто сердце». Но агрессия, о которой вы говорите, — это не слабость. Это огромная сила, просто направленная внутрь, — говорю я, откидываясь в кресле. — Вы когда-нибудь думали, что эта ярость может быть не совсем вашей?

Она смотрит непонимающе. Я объясняю: иногда эмоциональный багаж переходит с нами из жизни в жизнь, как старый чемодан, который мы почему-то продолжаем таскать, даже не помня, что внутри. Хотите попробовать заглянуть в прошлую жизнь?

Она соглашается. Скептически, но соглашается.

Я провожу ее в регресс. Сначала она сопротивляется — я вижу, как дергаются веки, как пальцы то сжимаются, то раз-

жимаются. Она привыкла контролировать все. Но постепенно дыхание выравнивается, плечи опускаются, и лицо разглаживается, становясь удивительно юным и беззащитным.

— Расскажите, где вы сейчас, — прошу я.

Она молчит несколько мгновений, а потом начинает описывать. И я записываю, потому что то, что она видит, невозможно удержать в памяти без потерь — слишком живо, слишком детально.

— Я... я в лесу. Это такой густой лес, пахнет хвоей и мхом. Солнце пробивается сквозь кроны деревьев золотыми пятнами. На мне длинное платье из грубой ткани, но мне удобно. Мне... — она запинается, и на лице появляется выражение, которого я не видел у нее за все время сессии — удивление. — Мне хорошо. Мне спокойно. Я собираю травы.

Голос ее меняется. Уходит металлический привкус, уходит напряжение. Теперь это голос молодой женщины, живущей в гармонии с собой и миром.

— Что вы чувствуете?

— Я чувствую... я чувствую, как наполняюсь. Вот это растение — тысячелистник, я знаю его, он для ран, а это... о, это зверобой, мама говорила, он отгоняет тьму, не только от тела, но и от души. Моя корзина почти полная. Я счастлива. Я... я не помню, когда в последний раз была так счастлива.

Она замолкает, и по щеке ее катится слеза. В этой жизни она плачет впервые за долгое время. Я даю ей время побыть в этом чувстве.

— У вас есть семья?

— Да. Мама... мама — она такая мудрая. У нее золотые руки и голос — когда она поет, даже цветы поворачиваются к ней. А отец — он большой, сильный, у него борода пахнет сеном и немного лошадыми. У нас огромное хозяйство. коровы, овцы, куры, собаки... — Она вдруг смеется — звонко, по-детски. — А еще у нас есть козел. Ужасно вредный и ужасно любимый. Его зовут... Борька.

Она смеется, и я смеюсь вместе с ней, хотя знаю, к чему идет эта история. Я чувствую это в том, как она описывает каждую деталь, столько любви, столько жизни, что сердце щемит от предчувствия. В регрессивной терапии я научился распознавать такие моменты — моменты перед падением, когда счастье человека слишком велико и слишком чисто, чтобы остаться нетронутым.

— Моя мама... она умеет делать зелья. Не волшебные, нет, — она будто оправдывается, — а из трав. Исцеляющие. Она заговаривает их голосом, и люди из деревни приходят к ней тайком, когда знахарь не помогает. А еще она поет, когда кто-то болеет, и боль уходит. Я тоже так умею. У меня ее дар, только... сильнее. Мой голос может почти все. Я могу им успокоить самого буйного быка, а могу...

Она замолкает, и я вижу, как ее лицо омрачается.

— Могу заставить человека сделать что угодно. Однажды соседский мальчишка дразнил Борьку, а я... я просто сказала ему «уйди», и он ушел, хотя не хотел. Он потом плакал и

не понимал, почему ноги сами понесли его домой. Я тогда испугалась. И маме ничего не сказала.

— Вы использовали свой дар во вред кому-то? — спрашиваю я осторожно.

— Нет! Никогда! Это... это как огонь. Он может согреть дом, а может сжечь его. Я знаю это. Я чувствую ответственность. Я знаю, что мой голос может даже убить — проклясть так, что человек умрет. Но я бы никогда... никогда... Это же люди. Живые люди.

Она снова плачет, и я понимаю — не от облегчения, а от того, что эта девушка из прошлой жизни еще не знает, что ее ждет.

— Я возвращаюсь из леса. Уже почти стемнело. Я так долго собирала травы, что потеряла счет времени, — голос ее становится напряженным, а дыхание частым. — Что-то не так. Что-то...

Она делает паузу. Я вижу, как ее лицо искажается — не болью пока, а непониманием. Тем ужасным предчувствием, которое мы все знаем, когда еще ничего не случилось, но тело уже все поняло.

— Дым. Я чувствую запах дыма. Не очага — другого дыма. Гарь. И еще что-то... что-то паленое... — она замолкает, и я вижу, как ее руки сжимают воображаемую корзину с травами. — Я бегу. Бегу изо всех сил, но дорога как будто длиннее обычного. Я знаю — что-то случилось. Что-то ужасное. Пожалуйста, пожалуйста...

Она уже не говорит — она шепчет, и в голосе ее такой ужас, что даже у меня по спине бегут мурашки.

— Расскажите, что вы видите, — прошу я мягко.

— Я вижу... я вижу... — ее дыхание сбивается, и я понимаю, что она на грани. — Я вижу пепелище. Там, где был наш дом, наш сарай, наш загон для скота... там просто... черное пятно. Все сгорело. ВСЕ.

Она кричит это последнее слово, и в этом крике столько боли, что кабинет будто сжимается. Я кладу руку на ее запястье — просто чтобы напомнить, что она не одна.

— Я подхожу ближе, и я вижу... я вижу тела. Они обгорели. Я не могу понять, кто есть кто... но я знаю — это мама. Это папа. Это... это наши животные. Борька... — она рыдает, не сдерживаясь. — Они даже козла не пощадили. Они сожгли всех. Всех.

— Кто «они»?

— Люди. Из деревни. Наши соседи. Те, кому мама помогала. Кому я помогала. Я вижу их — они стоят поодаль с факелами, и лица у них... они смотрят на пепелище, и я вижу, что им страшно. Они боятся. Говорят, что мы колдуны, что мы навели порчу на скот, что мама своим голосом призывала демонов... — она задыхается от рыданий. — Это ложь! ЛОЖЬ! Мы никому не делали зла!

Она замолкает. Долго молчит. А потом я слышу этот вопрос. Тот самый вопрос, который будет с ней из жизни в жизнь:

— За что? За что они это сделали? Мы же... мы же любили их. Мы им помогали. За что?

В этом вопросе больше нет слез. Только лед. Только та самая сталь, которую она принесла с собой в кабинет, только закаленная тысячей лет.

— Я понимаю, — говорит она вдруг тихо. — Я понимаю, что на самом деле произошло. Они боялись. Просто боялись того, чего не понимали. Как всегда. И этот страх... он сжег мою семью не меньше, чем их факелы.

Дальше она рассказывает про месть. Рассказывает сухо, почти бесстрастно, как будто зачитывает отчет. Но я вижу, как побелели костяшки ее пальцев, сжимающих подлокотники.

— Я запомнила каждого. У меня хорошая память. Сначала я просто сидела в лесу на пепелище и повторяла их лица. День за днем. Тех, кто держал факелы. Тех, кто кричал громче всех. Тех, кто стоял и смотрел, не вмешиваясь, — это тоже вина. Я выучила их всех. А потом начала действовать.

Она рассказывает, как дала отравленный пирожок лавочнику, который первым бросил факел в их сарай. Как навела порчу — ту самую, в которой их обвиняли, но настоящую, смертельную — на жену старосты, подстрекавшую толпу. Как заставила голосом кузнеца убить себя, потому что он не просто участвовал в поджоге, но и смеялся, когда горел их скот.

— Я убивала их по одному. Месяц за месяцем. Год за го-

дом. И с каждым убийством мне не становилось легче — она смотрит перед собой, и глаза ее пусты. — Я думала — месть исцелит меня. Думала — когда умрет последний, я почувствую облегчение. Но когда не осталось никого... стало только хуже. Потому что моя семья не вернулась. Потому что я стала такой же, как они, — убийцей. Их страх убил мою семью, а моя ненависть убила меня саму. И я поняла... я поняла, что этот огонь внутри меня — он сильнее того, что сжег наш дом. И он будет гореть вечно.

Я молчу. Я знаю — сейчас не время для интерпретаций. Сейчас время дать ей прожить эту боль до конца. Эту боль, которой несколько сотен лет и которая передавалась из жизни в жизнь, как проклятие, которое она сама на себя наложила.

— С тех пор я ношу это в себе, — говорит она тихо. — Этот гнев, эту пустоту, это закрытое сердце. Я убила тех людей, а потом хоронила себя заживо в каждой следующей жизни. Я не позволяла себе любить, потому что боялась снова все потерять. Я не позволяла себе быть счастливой, потому что считала себя недостойной счастья. Как я могу быть достойна счастья, если я убийца? Я стала тем, что ненавидела.

Она поднимает на меня глаза, и в них больше нет стали. Только боль.

— Я хочу это отпустить. Я так устала. Я так долго это несу. Помогите мне, пожалуйста.

Я провожу ее через практику прощения. Это не просто

слова — это глубокая внутренняя работа, когда человек лицом к лицу встречается со всеми, кто причинил ему боль, и сознательно, шаг за шагом, отпускает гнев. Сначала она не может. Она снова кричит, плачет, сжимает кулаки — я вижу, как ей хочется убивать их снова и снова. Но постепенно...

— Я понимаю, — говорит она вдруг спокойно. — Я понимаю, что они были напуганы. Они были темными, нежественными людьми. Они не знали, что такое наш дар, и боялись его. Это не оправдывает их, но... я не хочу больше нести это. Я не хочу быть судьей и палачом. Я не хочу, чтобы их страх жил во мне.

Она замолкает. А потом добавляет:

— Я прощаю их. Я прощаю того лавочника, который первым бросил факел. Я прощаю жену старосты, которая натравила толпу. Я прощаю кузнеца, который смеялся. Я прощаю всех, кто стоял и смотрел. Я прощаю их, потому что иначе я никогда не освобожусь.



И тут я вижу, как меняется ее лицо. Оно становится светлее, мягче — как будто с него спадает невидимая маска.

— А теперь самое важное, — говорю я. — Простите себя.

— За что? — спрашивает она, и я понимаю, что это искренний вопрос. Она действительно не понимает.

— За то, что стали той, кого ненавидели. За то, что отняли жизни. За то, что позволили этому гневу и боли определять вас из жизни в жизнь. За то, что закрыли свое сердце.

Она долго молчит. А потом говорит, и голос ее дрожит:

— Я прощаю себя. Я прощаю себя за то, что убила их. Я прощаю себя за то, что исказила свой дар. Я прощаю себя за то, что забыла, кто я есть на самом деле. Я не это. Я не моя боль. Я не моя месть. Я — это любовь, которую мне дали мои родители. Я — это дар, который мне передала мама. Я — это свет, а не тьма. Я прощаю себя.

Она плачет. Но это другие слезы — не горькие, не злые. Это слезы облегчения, как будто гной наконец вышел из старой раны.

— Я чувствую... я чувствую, как что-то уходит, — говорит она шепотом. — Как будто я все это время держала в руках раскаленные угли, и наконец могу их отпустить. Как же легко... как же легко без них...

Когда она открывает глаза, я вижу другого человека. Она все та же успешная девушка с тремя образованиями, но в ней что-то неуловимо изменилось. Плечи опущены, челюсти расслаблены. И глаза... в глазах больше нет стали. Там свет.

— Знаете, — говорит она вдруг, — я ведь никогда не пела. В этой жизни. Ни разу. Я боялась даже попробовать. А сейчас... сейчас я чувствую, что хочу. Очень хочу.

Она улыбается, и в улыбке этой — та самая девушка из прошлого, которая собирала травы в лесу и возвращалась домой к любящей семье.

— Ваш голос — это дар, — говорю я. — Он всегда был даром. Просто вы забыли об этом на несколько жизней. Но теперь вы помните.

Она кивает. Встает. На мгновение задерживается у двери. — Спасибо. Вы вернули меня мне.

Она уходит, а я остаюсь в кабинете, глядя на пустое кресло. И думаю: как часто мы таскаем с собой то, что нам не принадлежит? Как часто наши страхи, наша злость, наша закрытость — это всего лишь эхо древних трагедий, которые мы не прожили до конца? И как часто достаточно просто вспомнить, просто простить и просто отпустить, чтобы стать собой?

В комнате все еще пахнет лавандой. И чем-то еще — едва уловимым, как будто дымом от давно погасшего костра. Но этот запах тает, уступая место свежести — той самой, какая бывает после дождя, когда воздух чист и прозрачен.

За окном смеркается. Я закрываю блокнот, в котором записал эту историю, и думаю о том, что каждая душа хранит свои пепелища. И каждый из нас когда-нибудь находит в себе силы разжать ладони, отпустить угли и наконец исцелиться.

Эхо южного города



Ко мне приходят разные люди. Чаще всего — с болью, с

потерями, с вопросами без ответов. Но иногда приходят те, у кого все хорошо. И это, поверьте, самые интересные случаи.

Олег сидел в кресле напротив, сцепив пальцы в замок. Сорок два года, успешный архитектор, жена, двое сыновей-подростков, дом за городом. Спортивная фигура, дорогие часы, спокойный взгляд человека, который привык держать жизнь под контролем.

— Знаете, Сергей, — он чуть усмехнулся, подбирая слова, — я как рыба в аквариуме. Вода чистая, кормят регулярно, стенки стеклянные, видно все вокруг. А плавать некуда. Понимаете? Вроде все могу, а будто уперся в потолок. И самое странное — я чувствую, что сам себе этот потолок поставил. Только не помню когда и зачем.

— Давай попробуем посмотреть, — предложил я. — Иногда корни сегодняшних ограничений растут из такой глубины, что умом не дотянуться.

Олег закрыл глаза. Его дыхание постепенно выровнялось, плечи опустились. Я вел его мягко, без нажима — вниз по лестнице воображения, через туман забвения, к той границе, где время перестает быть прямой линией.

— Что ты видишь?

Он молчал долго, почти минуту. Потом губы дрогнули:

— Море... Очень синее. И горы вокруг. Белые дома с черепичными крышами, они как ступеньки спускаются к воде. Пахнет нагретым камнем и кипарисами... Это юг. Крым, наверное. Или Кавказ. Деятнадцатый век, я чувствую.

— Ты мужчина или женщина?

Снова пауза. Потом его лицо неуловимо изменилось — разгладились резкие мужские складки, появилась какая-то удивительная мягкость.

— Женщина... Совсем молодая. Мне семнадцать. На мне светлое платье с кружевами, в волосах лента. Я стою на веранде, смотрю на море и пою. Господи, как я пою...

Его голос задрожал. Не голос даже — что-то в груди завибрировало, и я физически ощутил, как по кабинету разливается незримое эхо того пения, которое звучало полтора века назад над бухтой южного города.

— У меня удивительный голос, — прошептал Олег, и это уже был не он — это говорила она, та девушка с лентой в волосах. — Когда я пою, люди замирают. Плачут. Приезжают издалека — из Петербурга, из Москвы, только чтобы услышать. Говорят, такого сопрано в империи больше нет. Говорят, я могла бы петь в Ла Скала...

Ее звали Марией. Машенькой. Дочь городского врача, почтенного человека. Он лечил всю округу, его уважали, к нему шли за советом. А она пела. С детства, сколько себя помнила. Голос прорезался сам, как родник из скалы — чистый, сильный, нездешней красоты. Приезжали музыканты, умоляли отца отпустить ее в консерваторию. Итальянский маэстро, седой, с влажными глазами, вставал перед ней на колени: «Девочка, ты — чудо, тебя мир должен слышать!»

Отец хмурился, мать поджимала губы. Певичка. Артист-

ка. Что скажут люди?

— Они боялись не за меня, — голос Олега-Марии стал глуше, тяжелее. — Они боялись за свою репутацию. В их мире женщина на сцене — это почти падшая. А я любила их. Я не могла их послушаться.

Ей нашли жениха. Купец из Ялты, солидный, немолодой, но добрый. Свой дом, свое дело, уважение в обществе. Родители были счастливы. Свадьба, переезд, новые обязанности. Муж ее любил — по-своему, спокойной, сытой любовью. Она родила троих детей. Дом держала в порядке, на кухне пахло сдобой, в гостиной блестел паркет.

И она пела. Детям на ночь. Колыбельные, романсы, арии — все, что помнила. Голос не ушел, он жил в ней, дышал, рвался наружу. Но выходил только шепотом, только в детскую, только когда никто не слышал.

— Я не была несчастна, — сказал Олег, и по его щеке, по мужской щеке человека из двадцать первого века, скатилась слеза. — У меня была хорошая жизнь. Муж не бил, дети здоровы, дом полная чаша. Но каждый вечер, когда солнце садилось в море, я выходила на балкон, смотрела на воду и чувствовала — там, в этой воде, в этом небе, в этих горах осталось что-то мое. Самое главное. То, что я должна была отдать миру. И не отдала. Похоронила заживо. Потому что послушалась. Потому что так правильно. Потому что страх...

Он замолчал. Дышал тяжело, как после долгого бега.

— Она прожила долгую жизнь, — продолжил я тихо. —

Вырастила детей, понянчила внуков. Умерла в своей постели, в окружении родных. Ее оплакали. А голос... Он так и остался внутри. Неспетые песни, нераскрытые крылья. И знаешь, что самое важное? Она унесла с собой не сожаление о несбывшейся славе. Она унесла опыт предательства себя. Опыт выбора не своим сердцем, а чужим страхом. И этот опыт, как отпечаток, остался в душе.

Олег открыл глаза. В них стояли слезы, но взгляд был ясным, каким-то обновленным.

— Теперь я понимаю, — сказал он медленно. — Я же всю жизнь боюсь высовываться. Могу проект гениальный предложить — и молчу. Могу выступить на конференции — и отсиживаюсь в углу. Даже в институте, когда звали в аспирантуру, испугался, ушел в рядовые архитекторы. У меня внутри будто заслонка стоит: «Нельзя. Не принято. Что скажут? Будь как все. Не выделяйся». Это же ее голос. Точнее, голос ее страха.

— Именно, — кивнул я. — Ты сейчас проживаешь свою жизнь, Олег. У тебя другие родители, другое время, другие возможности. Но та душа, которая прошла через опыт отказа от своего дара, помнит боль предательства себя. И теперь, каждый раз, когда тыходишь к моменту проявления, включается древняя защита: «Осторожно! В прошлый раз это закончилось похороненным талантом. Лучше не рисковать». Только защита эта — от устаревшей опасности. Сейчас не девятнадцатый век. Сейчас не нужно выбирать между

семьей и призванием. Сейчас можно и то, и другое. Можно петь в полный голос — в переносном смысле, конечно. Проявляться в профессии, в творчестве, в любых твоих архитектурных «песнях».

Он долго сидел молча. Потом усмехнулся — уже по-своему, по-мужски.

— Знаете, я ведь в юности стихи писал. Никому не показывал. Стыдно было. А сейчас думаю — почему стыдно то? И Машенька эта... Я ее чувствую. Она мне не чужая, она — я. Только с другим лицом и в другом платье. И голос ее до сих пор во мне звенит.

Мы попрощались. Он ушел, унося с собой что-то новое — не ответ даже, а вопрос, который теперь будет жить в нем иначе. «Чего я боюсь на самом деле? И кому принадлежит этот страх — мне сегодняшнему или ей, той девочке с веранды над синим морем?»

Я подошел к окну. За ним шумел современный город, совсем не похожий на курортный южный берег позапрошлого века. И все-таки эхо остается. Эхо неспетых песен, нерожденных стихов, невысказанных идей. Эхо жизнью, прожитых по чужим правилам.

Но вот, что я понял за годы работы: ничто не исчезает бесследно. Каждый неспетый романс ждет своего часа. Каждый похороненный талант ищет способ пробиться в новом воплощении. И когда человек вдруг говорит: «Не могу больше молчать, хочу рисовать, писать, петь, строить, любить во

весь голос» — знайте, это не каприз. Это душа наконец-то получила разрешение допеть свою песню. Это время пробудится пришло.

Олег позвонил через полгода. Сказал, что взялся за проект, о котором мечтал десять лет. Что подал заявку на конкурс лучший архитектор — в сорок-то два. Что стихи написал и дал прочитать жене. Она сказала: «Почему ты молчал? Это же прекрасно».

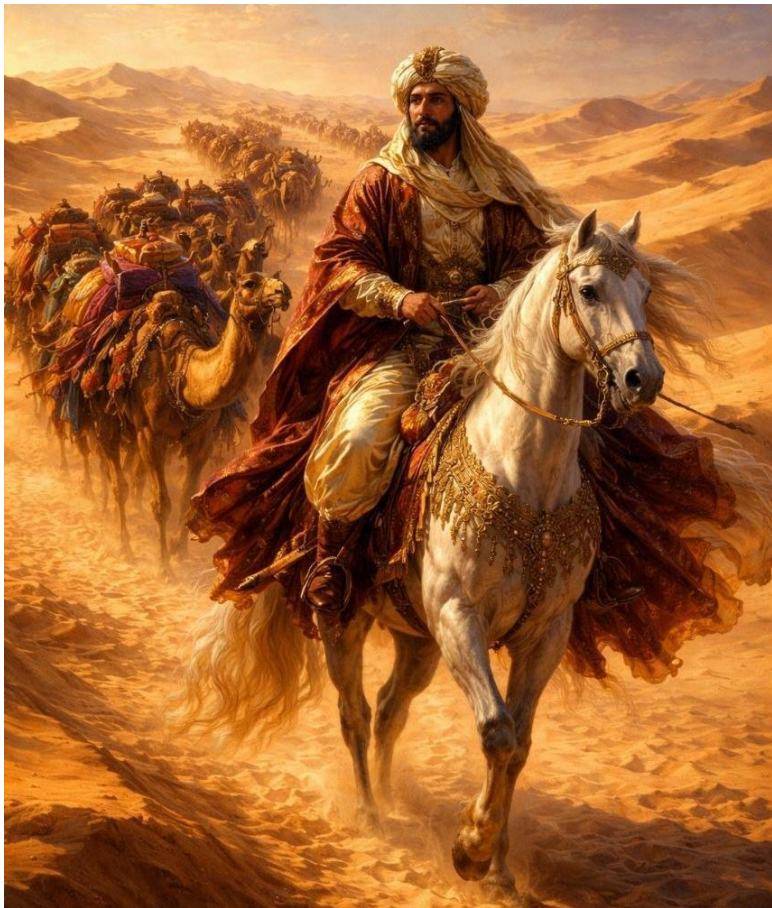
И еще он сказал:

— Я иногда вечером выхожу на балкон, смотрю на закат и представляю то синее море. И мне кажется, Машенька наконец-то поет в полный голос. Только теперь это не сопрано. Это бетон, стекло и свет. Это моя архитектура. Но звучит оно точно так же — пробирает до мурашек.

А я подумал: вот так и работает исцеление. Не через забвение прошлого, а через узнавание и принятие. Через право наконец-то сказать себе: «Я могу. Я достоин. Я пришел сюда не для того, чтобы повторить чужую судьбу, а чтобы допеть свою собственную песню».

И где-то там, в пространстве между жизнями, юная певица в светлом платье наконец-то улыбается. Ее голос не пропал. Он просто ждал, когда наступит нужное время. И оно наступило.

Хозяин каравана



За окном моего кабинета моросил мелкий дождь. В кресле напротив сидел мужчина лет сорока, крупный, с тяжелы-

ми кистями рук, лежащими на коленях. Звали его Андрей. Хороший инженер, золотые руки, но взгляд затравленный, уставший до предела.

— Я не могу, понимаете? — он потер переносицу. — Каждый раз, когда начальник отдела открывает рот и начинает диктовать мне, как заполнять дурацкий отчет или в какой позе стоять у станка, у меня внутри все закипает. Не просто раздражение — ярость. Физическая. Хочется либо стол перевернуть, либо уйти в степь пешком. Мне уже за сорок, двое детей, ипотека. А я сижу и боюсь, что однажды просто встану и выйду, хлопнув дверью, потому что... не могу, когда мной владеют.

Я видел таких людей. Их душа помнила ветер, а их тело было заперто в клетке офисного регламента. Я предложил ему лечь на кушетку, укрыл пледом — в комнате было тепло, но ему, как выяснилось позже, всегда было зябко в закрытых помещениях — и начал мягко вести его вниз, сквозь слои усталости и этой жизни, туда, где боль была первичной.

Сначала он молчал, только веки дрожали. Потом его дыхание изменилось. Оно стало жарким и сухим, как воздух над барханами.

— Я слышу... колокольчики, — прошептал он. — Нет, это бубенцы на верблюдах. Их много. Я чувствую запах. Пряный, сладкий. Это шафран и корица. Я везу их в Дамаск.

В том воплощении его звали иначе — имя звучало как песня пустыни, но он не смог его выговорить. Пусть будет

Карим.

Он был торговцем. Не тем забитым лавочником, что трясетя над медяками, а настоящим хозяином каравана. Он описал мне свой шатер: тяжелый шелк цвета запекшейся крови, расшитый золотой нитью. Он помнил вкус жирной баранины с гранатом и тяжесть кошелька на поясе. Он никому не кланялся. Он договаривался с эмирами как равный, и в его жизни было только одно правило — его собственное.

— Это пьянит больше вина, — говорил он с закрытыми глазами, и на его лице играла улыбка сытого, вальяжного зверя. — Чувствовать, что завтрашний день зависит только от того, куда я поверну своего коня.

Я попросил его перейти к самому тяжелому дню той жизни. Улыбка сошла мгновенно. Лицо Андрея посерело, словно присыпанное дорожной пылью.

Их накрыли на перевале. Разбойники пришли грабить и резать. Свист стрел, храп лошадей, крик охраны, захлебывающийся кровью. Андрей (Карим) сжал кулаки с такой силой, что побелели костяшки в этой реальности. Он пытался отбиваться саблей, но ему накинули на шею аркан, сдернули с седла и поволокли по камням.

— Все, — выдохнул он глухо. — Все тюки, все пряности, все золото. Мое. Чужое. В один миг. Даже плащ с плеча сорвали.

Самое страшное унижение случилось на рынке в порту. Его, бывшего владельца караванов, поставили на деревян-

ный помост, задрали ему рубаху и заставили скалить зубы, как лошадь. Его продали. Его жизнь продали, а он даже не получил за это ни одной монеты — цена ушла в карман пленившего его бандита.

Новый хозяин оказался римлянином, чиновником в какой-то северной колонии. Дом был каменным, мокрым и чужим. Его, привыкшего к шелкам, бросили чистить выгребные ямы и таскать камни для новой пристройки.

— Холодно, — стучал зубами Андрей. — Сыро. Небо серое, не такое, как дома.

Но самое удивительное проявилось дальше. Дух Карима, дух хозяина, не был сломлен грязной работой. Он начал бунтовать. В его сценарии не было рабского терпения. Он не умел опускать голову и ждать милости. Он совершил свой первый побег.

Он бежал ночью, босиком, раздирая ноги о камни. Его поймали через три дня. В наказание ему вырыли земляную яму во дворе — сырую, холодную могилу, в которой можно было только стоять или лежать калачиком в грязи. Сверху клали решетку, через которую ему кидали объедки.

— Я лежал там и смотрел на звезды сквозь прутья, — голос Андрея стал спокойным, даже отрешенным. — Я не плакал. Я считал дни. Я знал, где у конюха ключи от конюшни. Я знал, в какой час стражник пьет вино у ворот.

Он сбежал снова. Увел лошадь. Он уходил все дальше и дальше, он почти растворился в лесах. Но его выдало раб-

ское клеймо на плече. Его опознали в таверне по отметине хозяина. Удар по голове и снова дорога обратно, к решетке и холоду.

В этот момент на кушетке Андрей судорожно вздохнул и прижал ладонь к груди, чуть ниже ключицы, где у римлян обычно ставили клеймо. Я спросил: «Что теперь чувствуешь?»

— Обиду, — ответил он. — Дикую, злую обиду. Я ведь был хозяином. Я знаю, каково это — решать. И этот жирный римлянин... он не лучше меня. Почему он владеет мной?

Хозяин и сам это понял. Он понял, что этот раб с Ближнего Востока никогда не смирится. В нем жил дух свободы. И тогда его продали в последний раз — в гладиаторскую школу, но с пометкой «необучаемый, для звериной травли».

Арена. Песок, перемешанный с кровью. Рев толпы, требующей хлеба и зрелищ. На Андрея, на Карима, выпустили двух голодных львов. Ему дали ржавый, тупой меч, на который нельзя было даже опереться.

— Когда они прыгнули... — голос Андрея дрожал, но не от страха, а от какого-то странного торжества. — У меня перед глазами встал мой караван. Не шафран, не кошелек с золотом. А ощущение. Ощущение, что я иду впереди, и ветер в мою сторону.

Он замолчал. Я знал, что смерть наступила быстро — лев сломал ему позвоночник, второй перекусил горло.

Мы медленно возвращались. Дыхание выравнилось,

цвет лица становился обычным, не «римским» мертвенным. Андрей сел и долго молчал, глядя на дождь за окном, но уже без ненависти, а с пониманием.

— Я ведь и в этой жизни точно такой же, — сказал он хрипло. — Я не боюсь работы, я боюсь, что мне закроют небо решеткой. Что меня поставят на колени. Я думал, проблема в начальнике-дураке... А проблема во мне. Я живу в офисе так, будто я все еще в той земляной яме и вынашиваю план побега. Но я же свободен, правда? Я могу уйти в любой момент.

— В этом и есть ирония, Андрей, — ответил я ему, наливая чаю. — Ты ищешь свободу в бунте, в смене места. Как тогда, в прошлый раз, ты сменил хозяина на льва. Но там, на арене, перед смертью, ты вспомнил не свободу от оков, а состояние хозяина каравана. Когда ты спокоен и управляешь изнутри.

Он посмотрел на меня долгим взглядом и вдруг улыбнулся, по-настоящему, впервые за вечер.

— Значит, мой караван никуда не делся, — сказал он. — Просто сейчас я временно еду не на верблюде, а в метро.

Он ушел, когда дождь кончился. В его походке уже не было той затравленной, взрывной пружины, готовой сорваться в любой момент. Он нес в себе дух хозяина жизни, который наконец понял, что хозяин — это не тот, кто громче всех кричит или быстрее убегает, а тот, кто не позволяет миру украсть у него внутреннюю тишину. Даже если этот мир на-

рядился в костюм строгого начальника или римского патриция.

Дух торговца, прошедшего путь от шелка до львиной пасти, успокоился. Потому что настоящая свобода оказалась не в побеге, а в способности видеть небо даже сквозь прутья офисной решетки.

Одинокий пират



Хорошо. Присаживайся поближе к монитору или, если ты читаешь это с телефона, устройся поудобнее в своем кресле. Я заварю себе чай с бергамотом и расскажу тебе эту историю так, как я ее увидел и прочувствовал в тот дождливый четверг, когда она пришла ко мне в кабинет.

Ко мне редко приходят с поверхностными запросами. Обычно приходят те, у кого в груди — нарыв, который ни один психолог, кроме Вечности, вскрыть не может. Она была именно такой.

Анна. Стройная, с собранными в небрежный пучок русыми волосами. Взгляд умный, уставший. Она работает аналитиком данных, цифры и графики, удаленка, квартира с панорамным окном и умной колонкой. Казалось бы — мечта интроверта. Но когда она заговорила, ее голос дрожал той особой вибрацией, которую я научился распознавать за годы практики — вибрацией души, запертой в темнице безмолвия.

— Я не могу одна, — сказала она, и в этом «не могу» было не кокетство, а звериная тоска. — Тишина в квартире давит физически. Мне кажется, я исчезаю, если рядом никого нет. Мне нужен шум, гомон, чужие дыхания за спиной. Иначе — паника.

Я предложил ей лечь на кушетку. Обычный вход в регресс. Я не ищу «прошлые жизни» ради аттракциона. Я ищу корень. И когда она провалилась в ту дымку между явью и сном, из нее вдруг пахнуло солью, ромом и горячим деревом.

Черная Борода? Нет, просто Капитан

Сначала она смеялась в регрессе. Смех был грудной, раскатистый, мужской. Она рассказывала, как ветер рвет паруса ее «Медузы». Корабль был не просто судном — это был ее дом, ее тело. Каждая доска палубы отзывалась на шаг ее сапога.

— Я держал удачу за яйца, простите за мой французский, — вдруг басовито произнесла она своим голосом, но с чужой, прожженной солью интонацией. — Мои ребята шли за

мною в огонь. Не потому что я платил больше. А потому что я был своим. Я стоял на носу во время шквала и орал на Господа Бога, чтобы он подвинулся. И знаешь, что? Он подвигал тучи. Я не знал страха. Я знал только свободу.

Я видел эту картину ее глазами. Загорелые, потрескавшиеся руки, сжимающие штурвал. Ощущение плеча товарища слева и боцмана справа. Это была не просто «компания». Это был единый организм. Симбиоз душ.

А потом пришли паруса с золотыми лилиями. Королевский флот.

Бой, где фортуна подмигнула на прощание

Ее тело на кушетке напряглось. Анна, тихий аналитик данных, сейчас сжимала кулаки, словно держала абордажную саблю.

— Мы пошли на абордаж! Адреналин бил в виски. Я зарубил двоих... нет, троих. Меня скрутили. Веревки врезались в запястья. Я подумал: «Все, капитан, допрыгался. Сейчас на рею вздернут, как дворнягу».

И вот тут проявилась та самая деталь, ради которой мы и ныряем в прошлое.

— Но они... они не бросили. Моя команда. Они вернулись. Меня вырвали из лап этих напудренных ублюдков. Я был снова на «Медузе». Среди своих. Среди криков и запаха крови. Мы победили.

А дальше — тишина в моем кабинете и гулкое сердцебиение Анны.

— А потом небо стало огненным.

Она описала тот взрыв. Оглушительный. Пороховой погреб. Королевский канонир случайно или специально попал в самое сердце корабля. Ни боли, ни страха — только ярчайшая вспышка и ощущение полета. Удача, которая любила своего капитана, выплюнула его, как виноградную косточку, на пустынный берег.

Семь лет. Или семьсот?

Это была самая тяжелая часть сеанса. Я видел, как по щекам Анны текут слезы, но в трансе она не всхлипывала. Это была сухая, скупая мужская скорбь, запертая внутри.

Она описывала остров. Песок, пальмы, пресная вода в ручье — райский уголок, в котором любой дауншифтер мечтал бы провести отпуск. Только это был не отпуск. Это была клетка.

— Я каждый день смотрел на горизонт. Я построил шалаш, потом хижину. Я ловил рыбу. А потом я сделал его... Болвана. Из пальмовых листьев и палок. Надел на него свою треуголку. Назвал его Билл. Я разговаривал с ним по вечерам. Спрашивал: «Ну что, Билл, как думаешь, завтра придут?». И сам себе отвечал за него писклявым голосом: «Конечно, капитан, завтра обязательно».

Семь лет. Она прожила их за семь минут моего времени. Каждое утро надежды и каждый вечер чернейшей тоски. Человек, который жил ради «вместе», был наказан абсолютным «один».

— Я не выдержал, — прошептала она. — Я связал плот. Лучше сдохнуть в море, пытаясь уплыть, чем еще один день смотреть на рожу Билла. Я капитан. Мне нужна моя стая.

И третий день. Шторм. Высокая волна, накрывшая утлый плот. И последняя мысль Капитана, уходящего под воду: «Наконец-то. Больше не один. Море... оно живое. Оно со мной».

Возвращение

Когда она открыла глаза в моем кабинете, она долго молчала. Смотрела в потолок, а в глазах стояла океанская бездна.

— Я все поняла, — сказала она севшим голосом. — Это не страх одиночества. Это ломка. Я была центром вселенной. Команда — это были мои легкие. И когда легкие вырвали, я до сих пор пытаюсь вдохнуть чужой воздух. Через созвоны, через чаты, через шумных соседей. Я ищу свою «Медузу».

Она умная девушка. Она схватывает на лету.

Я дал ей стакан воды и сказал то, что говорю в таких случаях, и то, о чем ты, мой читатель, спросил меня в самом начале.

— Аня, Капитан боялся остаться один на острове, потому что там, снаружи, была только вода и пальмы. Но Капитан — это не просто тело, которое машет саблей. Капитан — это дух. А дух, знаешь ли, не может быть одинок по определению.

Она подняла на меня непонимающий взгляд.

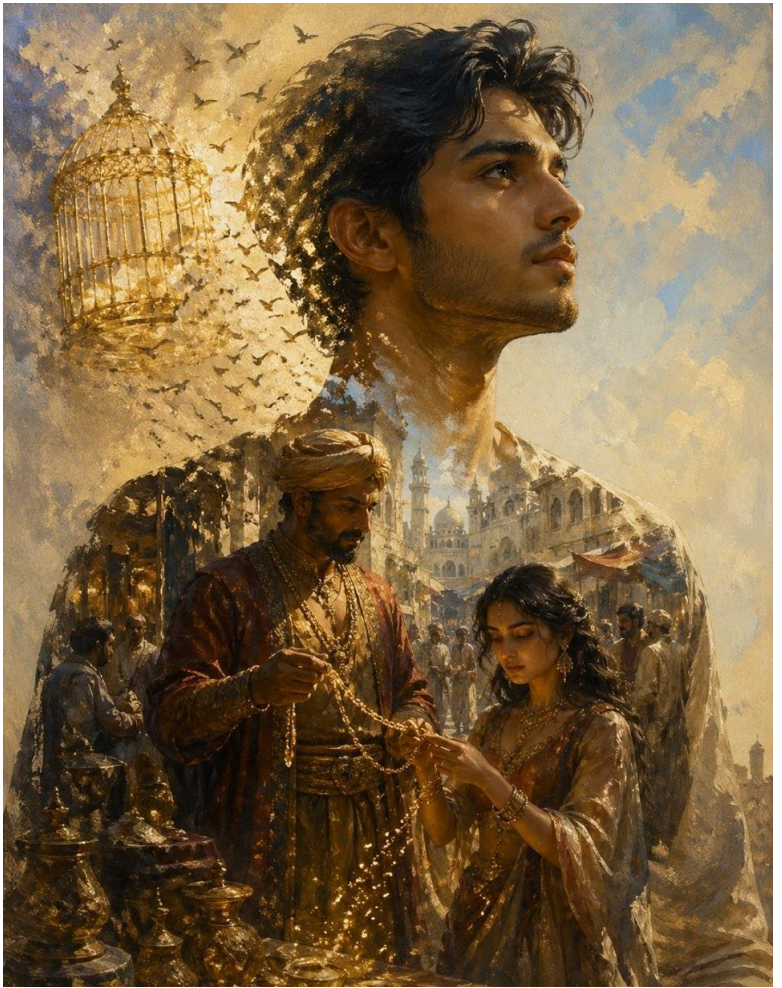
— Внутри тебя, в самом центре твоей груди, там, где когда-то бухали пушки и реял Веселый Роджер, теперь живет нечто большее. Там — частичка Творца, того самого ветра, что надувал паруса «Медузы». Ты ищешь спасения снаружи, ждешь корабль на горизонте. А он — внутри. Тот самый Навигатор, который никогда не оставит штурвал, если ты сама его не выбросишь за борт.

Ты можешь быть одна в квартире, но если ты замрешь, перестанешь суетиться и прислушаешься — ты услышишь не гулкую тишину. Ты услышишь биение Жизни в собственных венах. Это и есть Тот, кто всегда рядом.

Она ушла от меня задумчивая, но с выпрямленной спиной. Как капитан, знающий, что в трюме его души лежит самый ценный груз — Божественное присутствие, которому не нужны ни слова, ни чучела из пальмовых листьев.

Просто будь. Дыши. Ты никогда не был один. И никогда не будешь.

**Две жизни, чтобы
научиться любить**



В моем кабинете я смотрел на парня, сидящего в кресле, напротив. Егор. Девятнадцать лет. Светлые глаза, в которых поселилась усталость, не свойственная его возрасту. Он пришел с конкретным запросом, но, как это часто бывает, настоящая причина пряталась глубже, чем он сам предполагал.

— Она говорит, что мы с ней на одной волне, что у нас высокие отношения, духовные, — он усмехнулся, но в усмешке этой была горечь. — Только волна эта меня топит.

Я предложил ему воду, он сделал глоток. Руки у него слегка дрожали.

— Я взял уже третий кредит. Небольшой, но для меня это много. Она хотела поехать в Азию, на какой-то ретрит, сказала, что ей это жизненно необходимо для развития. Я занял у друга, у родителей стыдно просить. Она уехала, присылала мне фотографии счастливая, а когда вернулась, через неделю сказала, что ей нужна новая машина.

— И ты начал искать деньги на машину.

— Да. Понимаю же, что это путь в никуда. Я умный парень, у меня бизнес в девятнадцать лет, я зарабатываю больше многих взрослых мужиков. Но с ней я как безвольный щенок.

Он замолчал, глядя в пол. Я не торопил. Иногда тишина — лучший проводник.

— Зачем ты это делаешь? — спросил я тихо.

— Люблю ее, — ответил он почти без раздумий. И тут же поправился: — Хочу, чтобы она была моей. Полностью.

Чтобы никуда не делась. Чтобы всегда была рядом.

Вот оно. Ключ.

Я предложил ему погружение. Он согласился легко — видно было, что душа давно просила ответов.

Мы начали дыхательные практики. Голос мой стал монотонным, ритмичным. Егор закрыл глаза, дыхание выровнялось. Он уходил все глубже, отпуская контроль, отпуская страх.

— Ты идешь по улице. Что ты видишь?

— Узкая улочка... — голос его изменился, стал ниже, в нем появилась хрипотца. — Пыльно. Жарко. Пахнет специями и верблюдами.

— Кто ты?

— Я торговец. У меня большой дом, много слуг. Я богат. Очень богат. Меня уважают.

— Как тебя зовут?

— Рашид, — он произнес это имя с таким достоинством, будто все еще был там.

— Посмотри на свои руки, Рашид. Что ты видишь?

— Перстни. Три перстня. Крупные камни. И запястья в браслетах. Я только что заключил хорошую сделку, доволен.

— Иди дальше по своему дню. Куда ты направляешься?

Он замолчал. Лицо его изменилось — на нем проступило что-то хищное, собственническое.

— На рынок. Рынок рабов. Я хочу купить девушку. Красивую. Чтобы была только моя.

В комнате повисла тяжелая пауза. Я чувствовал, как энергия вокруг сгущается, становится почти осязаемой.

— Ты на рынке. Опиши, что видишь.

— Много людей. Шум. Торговцы кричат, предлагают товар. Рабы стоят на помосте. Я смотрю на них сверху вниз. У меня много денег, я могу выбрать любую.

— Кого ты выбираешь?

— Ее, — голос его дрогнул. — Она стоит в стороне. Грязная, в рваной одежде. Но глаза... у нее гордые глаза. Она не склоняет голову, как другие. Смотрит прямо. Дерзкая. Я хочу ее сломать.

— Как ее зовут?

— Амира.

Он произнес это имя с такой интонацией, что у меня мурашки пошли по коже. Нежность и жестокость сплелись в одном звуке.

— Что происходит дальше?

— Я покупаю ее. Она дорогая, но мне все равно. Я привожу ее в свой дом. Даю хорошую одежду, украшения. Она ест с моего стола. У нее отдельная комната, а не угол для прислуги. Все удивляются — почему рабыня живет почти как госпожа? А я... она мне нравится. Очень нравится. Я не хочу ее мучить. Я хочу, чтобы она была моей. Добровольно.

— А она?

— Она ненавидит меня, — он замолчал, потом продолжил глухо. — Каждый день она благодарит меня, как положено.

Улыбается, когда я вхожу. Но глаза у нее мертвые. Она играет роль. А я знаю — ночью она плачет в подушку, чтобы никто не слышал. Ей нужна свобода. А я не могу ее отпустить.

На его лице появилась гримаса — смесь боли и гнева.

— Почему не можешь?

— Потому что она моя! — почти выкрикнул он, и в этом возгласе было столько отчаяния, столько жажды обладать.

— Я заплатил за нее. Она принадлежит мне. И однажды она полюбит меня, я знаю. Я сделаю для нее все. Я дам ей все, что она захочет. Кроме свободы.

— Ты боишься, что если отпустишь, она уйдет?

— Она уйдет, — сказал он уверенно. — Обязательно уйдет. Она не любит меня. Ей нужна свобода, а не я. Я покупаю ей дорогие подарки, я исполняю ее капризы, я держу ее в золотой клетке. Но клетка остается клеткой, даже если прутья из золота. Тишина.

— Как заканчивается эта жизнь?

— Она стареет в моем доме. Смиряется внешне, но внутри — пустыня. Я так и не получил ее любви. Я получил только послушание. И перед смертью я смотрю на нее и понимаю: все было зря. Все мои деньги, все мои усилия. Она сидит у моей постели, держит меня за руку. Я умираю, и вдруг вижу в ее глазах не печаль, а едва заметное облегчение. Свобода. Только моя смерть дала ей свободу.

Он замолчал. По его щеке скатилась слеза.

— Я ждал, что она заплачет. А она просто сидела и смот-

рела, как я ухожу. И в последний момент я понял, как сильно ошибался.

— Теперь посмотри на эту девушку внимательно, Рашид. Посмотри в ее глаза. Узнаешь ли ты ее?

Долгая пауза. Дыхание участилось.

— Это... это Катя. Моя Катя. Та самая.

Тишина наполнила комнату, как вода наполняет сосуд. Он дышал тяжело, переваривая увиденное. Я дал ему время.

— Ты понимаешь, что сейчас происходит в твоей жизни, Егор? — спросил я мягко, возвращая его в настоящее, но еще не выводя из регресса.

— Это карма, — прошептал он. — Я заслужил это. Тогда я держал ее в золотой клетке, а теперь она держит меня. Она забирает мои деньги, мою свободу, мой покой. Я ее раб теперь.

— Это не наказание, Егор. Это урок. Души встречаются снова и снова, чтобы научиться тому, чего не смогли понять раньше. Чему этот опыт хочет научить тебя сейчас?

Он молчал. Но я чувствовал — внутри него происходит огромная работа. Шестеренки сознания крутятся с бешеной скоростью, перемалывая старые сценарии, старые травмы, старые долги.

— Истинная любовь... — начал он неуверенно, и я почувствовал, что слова идут не от ума, а откуда-то из глубины. — Она не в обладании. Там, в прошлой жизни, я думал, что люблю ее. Но я любил не ее. Я любил себя через нее. Свое

чувство власти, свою способность удержать...

— Продолжай.

— А сейчас я пытаюсь купить ее любовь деньгами. То есть я делаю то же самое, только с другой стороны. Там я был учителем, а здесь стал жертвой. Но суть одна — я пытаюсь обладать. Я думаю, что если дам ей все, что она хочет, она останется. Но это не работает. Там не работало, и здесь не работает.

— А что работает?

Он улыбнулся — впервые за весь сеанс. Улыбка была светлой, почти детской.

— Отпустить. Дать свободу. Любить не за что-то и не для чего-то. Просто любить. И если она захочет быть со мной — это будет ее выбор. Свободный выбор. Не потому что я купил ее или она купила меня. А потому что она хочет быть рядом.

— А если она не захочет?

Он вздохнул. Глубоко, полной грудью.

— Тогда... тогда это будет больно. Но честно. И ее свобода важнее моего желания обладать. Я понял это только сейчас, спустя сотни лет. Лучше поздно, чем никогда, да?

Я начал мягко выводить его из погружения. Он открыл глаза. В них стояли слезы и свет одновременно.

— Знаете, — сказал он тихо. — Я сейчас позвоню ей. И скажу, что больше не буду давать денег. И что я ее люблю. И что я даю ей полную свободу. И что я буду счастлив, если она останется. Но если она захочет уйти — я пойму.

— Страшно? — спросил я.

— Очень, — признался он. — Но там, в той жизни, я умер, так и не узнав, что такое настоящая любовь. В этой жизни я хочу узнать.

Он встал, пожал мне руку. Крепко, по-мужски.

— Я понял главное, — сказал он уже у двери. — Настоящая любовь — это просто быть рядом. Просто поддерживать. Без условий.

Дверь за ним закрылась. А я еще долго сидел в своем кресле, глядя на зажженную свечу. И думал о том, что этот девятнадцатилетний парень сегодня стал на целую жизнь старше. И на одну кармическую цепь свободнее.

Вот так души учатся любить. Не быстро. Не просто. Через века и жизни. Через боль потери и страх свободы. Но оно того стоит. Всегда стоит.

Я затушил свечу и улыбнулся. Вечер обещал быть добрым.

Я люблю этот мир



Она пришла в мой кабинет в дождливый вторник — с глазами цвета осеннего неба и привычкой держать ладони сложенными у груди, будто прикрывая что-то хрупкое внутри. Хороший специалист, любит животных, работает с ними много лет — а поговорить пришла про страх. Тот самый, липкий, подкатывающий к горлу каждый раз, когда нужно выйти вперед, заявить о себе, показать миру то, что умеешь.

— Я словно стою за прозрачной стеной, — сказала она, перебирая край шерстяного пледа. — Все вижу, все чувствую, а шагнуть не могу.

Я заварил нам чай с чабрецом — в такие сессии особенно важно, чтобы пахло домом и землей — и включил диктофон. Ее дыхание постепенно замедлилось, плечи опустились, и я повел ее туда, где время становится прозрачным.

Сначала она увидела траву. Не просто траву — целое море зеленого, высокого, поющего на ветру разнотравья. А потом поняла, что стоит коленями на этой траве и сама она... огромна. Ладони — как два больших блюда, в которых умещается целая стайка мелких существ. И она поет. Не песню в нашем понимании, а то, что звучало до нот и гамм — голос самой Земли, низкий, вибрирующий, проходящий сквозь каждую травинку и каждый камень. И она подпевала ему, как подпевают родному существу, которое любишь больше жизни.

— Я — Творящая, — прошептала она с закрытыми глазами, и голос ее дрогнул от узнавания. — Я создаю... создаю жизнь.

Она была женщиной-великаном. Не в сказочном, а в самом что ни на есть изначальном смысле — из тех, кого потомки назовут титанами, а то и вовсе забудут. Ее народ жил в резонансе с планетой, и каждое их творение рождалось из этой связи, из этой любви. Им не нужны были машины, чтобы косить траву — они просто создали кроликов. Малень-

ких, пушистых, с чуткими ушами и вечно шевелящимися носами. Они запускали их в высокую траву, и кролики делали свое дело: укорачивали зелень, тут же превращали ее в удобрение и мягкими лапками втапывали обратно в почву. Круг замыкался — чисто, ладно, с пользой для всех. Идеальная экосистема, рожденная из заботы, а не из нужды.

Она создавала их с радостью. Вылепливала из глины и солнечного света, вкладывала в уши любопытство, в лапы — прыгучесть, в хвостик — умилительную дрожь. И когда первый кролик, смешно дернув носом, принялся за траву, она засмеялась так, что эхо пошло по долинам. Она любила их всех — и кроликов, и птиц с хрустальными голосами, и огромных мохнатых зверей, что паслись в северных лугах. Каждое существо было нотой в симфонии, которую они с Землей писали вместе.

Людей тоже создавали они. Не как рабов, не как слуг — как младших братьев и сестер. Чтобы любовались, чтобы продолжали песню, чтобы добавляли свои голоса в общий хор. И поначалу все так и было. Люди жили среди животных, понимали их язык без слов, гладили пушистые спины и пели те же мелодии, что пела сама планета. В их глазах отражалось небо, а в сердцах — тихая, уверенная радость бытия.

А потом пришло заражение.

Она рассказывала об этом шепотом, и по ее щекам текли слезы. Слезы не этой жизни — той, древней, огромной, в которой каждое чувство было размером с горный хребет.

— Они пришли не на кораблях, — сказала она, сжимая подлокотники кресла. — Они пришли... изнутри. Тонкие, как мысли, но липкие, как страх. Паразиты. Инопланетные сущности, которым нужна была энергия. Наша энергия. Энергия любви, радости, созидания. А где ее больше всего? В людях, которых мы создали открытыми и доверчивыми.

Она видела, как это происходило. Сначала у человека чуть тускнели глаза — словно кто-то выкручивал фитиль внутренней лампы. Потом он начинал смотреть на зверя не с любовью, а с расчетом. Можно съесть. Можно продать. Можно убить ради забавы. Раньше они жили в мире, а теперь один поднял руку на того самого кролика — и разорвал его с криком, похожим на победный вой. И этот вой подхватили другие — уже зараженные, уже проглоченные паразитами изнутри.

Искажалось все. Любовь стала называться зависимостью, владение — свободой, убийство — необходимостью. Радуга счастья, которая раньше висела над каждым поселением людей, съежилась в серую дымку страдания. Война — вот что они принесли с собой. Не как явление, а как постоянный, гудящий фон жизни. Горе стало таким привычным, что без него уже казалось ненормально.

— Я стояла на холме и смотрела, как горит лес, который я растила три тысячи лет, — ее голос стал совсем тихим. — И я поняла, что не могу это остановить. Я могу создать кролика, но не могу изгнать паразита. А все, что я создам теперь...

они испортят. Извратят. Сделают оружием или товаром. И тогда я... закрыла сердце.

Она показала, как это было: огромная женщина-великан на фоне пылающего неба, медленно кладущая обе ладони на грудь и словно завинчивающая невидимый вентиль. Свет, который лился из нее, начал гаснуть. Боль ушла — но ушла и радость. Осталась только глухая, защитная стена. «Все равно испортят», — сказала она себе тогда. И перестала творить.

— Но я же все равно здесь, — прошептала она уже в настоящем, открывая мокрые глаза. — Зачем я возвращаюсь?

Я молчал, давая ей самой услышать ответ, который уже звучал в тишине кабинета. И она услышала.

— Я люблю этот мир, — выдохнула она. — Несмотря ни на что. Моя душа помнит, каким он был. Каким он МОЖЕТ быть. И каждый раз, рождаясь снова в этом маленьком теле, я ищу... я ищу способ открыть сердце заново. И помочь вспомнить другим.

Мы сидели долго. За окном перестал лить дождь, и в мокром асфальте отразился первый робкий луч. Я смотрел на нее — на эту девушку, которая любит животных, хорошего специалиста, которая боится проявляться — и видел не страх. Я видел великаншу, которая боится не того, что ее не оценят, а того, что ее творение снова исказят, причинят боль, пустят по ложному следу. Но самая суть ее души — творить и петь вместе с Землей — никуда не делась. Она просто ждала, когда ее вспомнят и разрешат себе снова звучать.

— Знаете, — сказала она, уже собираясь уходить и поправляя воротник пальто, — сегодня, когда выйду, я, наверное, спою. Просто так. Без повода. Мне кажется, я помню мелодию.

Я улыбнулся. Где-то глубоко под землей, под слоями асфальта и бетона, планета тоже это услышала и тихонько подстроила свою вибрацию под ее будущую песню. Паразиты все еще здесь, но и великаны возвращаются. И первый шаг к возвращению — позволить своему сердцу снова биться в ритме любви к этому миру, даже если он пока несовершенен.

Дверь закрылась. Я подошел к окну и увидел, как она идет по лужам, и плечи у нее расправлены, а губы шевелятся — то ли напевает, то ли здоровается с каждой пролетающей птицей.

Кажется, сегодня на Земле стало чуть больше света.

Пещера самурая



За окном шумит город, но здесь, внутри, время течет иначе. На кушетке лежит мужчина, назовем его Андрей. Успешный, сорок лет, крепкая семья, бизнес. Но взгляд — как у зверя, который носом уперся в невидимую стену.

— Понимаешь, — говорит он, — все вроде есть. И сила, и ум, и возможности. А сделать шаг вперед — не могу. Вот здесь, — он кладет ладонь на грудь, — будто засов. И страх.

Холодный, липкий. Будто шагнешь — и все, конец.

Он закрывает глаза. Дышит глубоко. Погружение дается легко. Пелена.

И вот уже не кабинет, а сопки, поросшие кривыми соснами. Слышу звон металла. Это не бой, это мясорубка. Крики рвут горло на незнакомом языке. И в этом аду — Он. Молодой. С забранными в хвост жесткими волосами. Руки в мозолях от катаны сжимают рукоять так, что белеют костяшки. Он не просто сражается — он танцует. Каждое движение отточено, каждый выпад смертелен. В груди — огонь битвы и пьянящая радость бытия. Он любит эту жизнь. Любит неистово: вкус рисовой каши на рассвете, запах мокрой хвои, смех товарищей у костра.

Удар. Он пропускает. Вскользь. Древко чужого копья пересекает бок чуть выше бедра. Не смертельно. Больно и обидно. Кровь горячей струйкой бежит по ноге.

И в этот момент огонь в груди гаснет. Его заливают ледяной волной. Страх смерти.

Он пришел не как трусость. Он пришел как животный, парализующий ужас. Будто кто-то выключил тело. Ноги перестали слушаться. Руки повисли плетью. Он слышал только стук своего сердца, который отдавался в ушах: «Все. Сейчас. Оборвется. Все, что я люблю, исчезнет».

Ум, хитрый и цепкий, шепнул: «Ложись. Притворись мертвым. Замри. Пережди».

И он подчинился. Сдался уму, предав дух. Он рухнул ли-

цом в грязь, смешанную с кровью. Сражение гремело вокруг, топтало его сапогами, обдавало жаром дыхания, а он лежал, глядя стеклянными глазами в серое небо. Шум затих. Улетело воронье. Наступила гулкая тишина. А он лежал еще три часа. Пока холод не стал сильнее страха. Пока паралич не отпустил судорогой.

Он встал. Ранение саднило. Но болело не бедро. Болела душа. Он — самурай. Тот, кто не боится смерти. Тот, кто идет до конца. И он — обесчестил себя. Перед родом. Перед братьями. Перед небом.

Как смотреть в глаза отцу? Как коснуться руки жены, если ладонь запятнана не кровью врага, а землей, на которой он валялся как червь? Как пить sake с теми, кто умирал стоя?

Он не вернулся. В ту же ночь он взял лодку и ушел в море. Нашел скалистый, продуваемый всеми ветрами остров. Нашел пещеру. И остался там. Не для того, чтобы жить. Чтобы казнить себя каждый день. Одиночество стало его харакири, растянутым на десятилетия.

Он сидел у входа в пещеру, смотрел на бескрайний океан и повторял одними губами: «Трус. Ты мог жить. А выбрал небытие».

Андрей на кушетке сжал кулаки до синевы. По его щекам текли слезы.

— Он так и не простил себя, — прошептал он голосом, охрипшим от чужой тоски. — Я несу этот стыд. Я боюсь действовать, потому что любое действие может привести к

ошибке. А ошибка — к вечному изгнанию из самого себя.

Я молчал. А потом тихо спросил:

— Андрей, посмотри на того самурая. Вот он сидит в своей пещере, седой, одинокий. Посмотри ему в глаза. Тот мальчик, что лежал в грязи, испугался. Просто испугался. Тело предало его. Разве он заслужил за одну минуту животного ужаса вечность позора? Кто его судит так строго? Бог? Предки? Или он сам придумал себе ад?

В тишине повис ответ.

— А что бы ты сказал своему сыну, если бы он оступился? — продолжил я. — Если бы он испугался в драке? Сказал бы: «Уплывай на остров и сгни там от стыда»? Или обнял бы и сказал: «Это тело, сынок. Оно живое. Оно боится боли. Ты человек».

Андрей вздрогнул. В пространстве регрессии произошел щелчок.

— Я... я бы обнял его, — голос Андрея стал тверже. — Я бы сказал ему: вставай. Иди домой. Страх — это не грех. Грех — это сдаться навсегда.

— Так может, хватит самобичевания? — я чуть улыбнулся. — Одиночество закончилось. Казнь отменяется. Верни того парня с острова. Пусть он снова поест рисовой каши и увидит рассвет. Просто разреши ему жить дальше.

Через минуту Андрей глубоко вздохнул. Тяжесть ушла из кабинета, будто открыли форточку в душную ночь.

Когда он открыл глаза в нашем времени, он выглядел не

просто уставшим. Он выглядел прощенным.

— Странно, — сказал он, садясь и глядя на свои руки. —
Всю жизнь я тащил этот остров в себе. А оказывается, я сам
себя на него сослал. И сам могу уйти.

Он ушел от меня уже другим человеком. Позже он напи-
сал, что начал проект, который боялся начать три года. И что
впервые за долгое время он не чувствует, что делает шаг в
пропасть. Он чувствует твердую землю.

*Потому что страх — это нормально. Это грань живого
тела. А вот стыд, растянутый на столетия, — это уже
наша собственная тюрьма. И ключи от нее всегда у нас в
кармане. Просто нужно осмелиться их достать.*

Погибший подводный мир



Это был один из тех сеансов, которые остаются с тобой надолго. За окном моего кабинета моросил тихий дождь, создавая ощущение, что мы находимся не в центре мегаполиса, а в каком-то уютном коконе. В кресле сидела Алиса — красивая, ухоженная женщина с удивительно добрыми глазами, в которых, однако, застыла вековая усталость.

Она много отдавала миру: помогала, консультировала,

спасала проекты. Но классический синдром «спасателя» съедал ее саму. «С мужчинами, — тихо говорила она, — я как натянутая струна. Только расслаблюсь, начну доверять, как тут же жду удара в спину. А деньги... Я словно упираюсь головой в стеклянный потолок, хотя знаю, что способна на большее. Но стоит мне сделать шаг к масштабу, внутри голос шепчет: "Не высовывайся, замри, все равно все рухнет"».

Когда мы вошли в глубокое состояние, я попросил ее отправиться к самому истоку этого ледяного, сковывающего убеждения.

Первое, что она увидела — это толщу воды. Плотной, словно желе, но удивительно прозрачной. Это был подводный город невероятной, фантастической красоты. Архитектура не подавляла природу, а вращалась в нее: сферические здания переливались перламутром, словно раковины наутилусов, транспортные магистрали были живыми — по ним скользили существа, напоминающие гибрид скатов и стеклянных лиан. Мы с трудом подбираем аналогии, потому что та цивилизация ушла далеко в гармонии с биосферой.

Алиса (а там ее звали иначе, пусть будет Эйла) была молодым пилотом патрульного судна. Не железной субмарины, а бионического корабля, чей двигатель работал по принципу реактивного осьминога, бесшумно вбирая и с силой выталкивая воду. Она служила в паре с женщиной по имени Орн. Они были идеальным тандемом: он — стратег, она — интуит. Сутки напролет они несли вахту на границе периметра,

оберегая спящий город от тех, кто приходил из черной бездны.

Город защищал энергетический щит, который поднимали по их сигналу. Это был рубеж, за который враг пройти не мог.

В ту роковую "ночь" (хотя на глубине нет дня и ночи, биоритмы замедлялись) была очередь Эйлы отдыхать. Океан был нем. Даже киты-передатчики молчали. Орн остался за пультом, слившись с сенсорами.

— Я вижу его, — голос Алисы в моем кабинете задрожал. — Он был измотан. Мы были слишком самоуверенны... Слишком спокойны.

Орн закрыл глаза всего на минуту. Нервная система, настроенная на вибрации, пропустила момент, когда мрак выплюнул стаю черных кораблей, похожих на хищные торпеды. Они шли клином, идеально синхронно, а за ними, словно караван воронов, плелись корабли снабжения. Захватчики скользили на грани слышимости, глуша эхо.

Эйлу разбудила не сирена. Ее выдернула из сна Интуиция — древний, звериный страх, прозвеневший в каждой клетке тела. Она выскочила на пост наблюдения. Экран был кристально чист, но вода за бортом казалась «мертвой».

Увидев спящего напарника, она сначала замерла. А потом перевела взгляд на кормовой сканер. Сердце рухнуло в пятки: она увидела, как вдали, изящно виляя, исчезает хвостовой плавник последнего вражеского корабля обеспечения.

Они проскочили прямо у них под носом.

Времени не было.

Она разбудила Орна криком. Попыталась активировать эхолокационный «крик тревоги» — сигнал, что пронзает толщу воды быстрее звука. Но захватчики включили глушилку первыми. Пространство заполнил ватный, глухой шум. Тишина стала оружием.

— Проклиная его, я рванула за ними, — шептала Алиса, сжимая подлокотники. — Наш кораблик разогнался до предела...

В режиме форсажа их аппарат вылетел к городу за считанные секунды. Но опоздал. Щит не успел подняться. На месте сияющих куполов, где бились сердца тысяч людей, клубилась муть, подсвеченная аварийными огнями. Трупы и обломки конструкций медленно оседали на дно, словно снег.

— Они ударили по центру управления. Без щита мы были как дети... — Алиса плакала. — Я тогда стояла у иллюминатора и чувствовала, как что-то во мне умирает. Орн стоял рядом и молчал. Я не кричала на него. Я просто перестала его замечать. Все, что было между нами, доверие, любовь, дружба — превратилось в пепел.

В тот момент родилась четкая, ядовитая мысль, ставшая моей броней: «Никому нельзя доверять. Расслабишься хоть на миг — и мужчина все проспит. И все твои старания бесполезны, потому что финал всегда один — смерть и разрушение. Безопаснее быть одной. И нет смысла масштабиро-

ваться и строить большие красивые миры, потому что это привлекает хищников».

После того сеанса мы долго молчали. Алиса растирала слезы по щекам и удивленно смотрела в потолок.

— Так вот почему я боюсь нанимать сотрудников... — проговорила она. — Это же "корабли снабжения". Чем больше система, тем она уязвимее...

Это было мощнейшее инсайтное перепроживание. Та девушка, Эйла, не просто погибла, она замуровала свою душу Эйлы в ледяной глыбе вины и недоверия. И этот кристалл блокировал потоки. Деньги (вода) просто обходили ее стороной, не в силах пробить броню. Отношения разбивались о холод.

Мы провели работу по снятию клятвы. Я попросил Алису представить, что она снова стоит на том самом месте в рубке патрульного корабля, рядом с Орном. И сказать ему те слова, которые она не смогла произнести тогда:

«Я прощаю тебя. Это была случайность. Я тоже хотела спать. Я не могла контролировать все и бежать быстрее всех. Я прощаю себя за то, что опоздала. Ты имел право на ошибку. Я имела право на отдых. Мы сделали все, что могли».

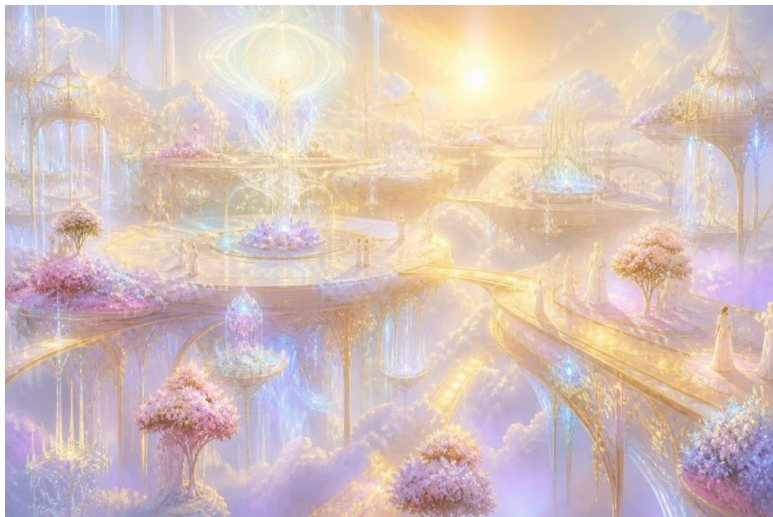
Она говорила это, и вода в ее видении начала очищаться. Она вернула себе способность дышать. Пришло осознание: масштаб и уязвимость — это не синонимы. В той жизни враг напал не потому, что город был большим. Он напал потому, что такова была их природа. Здесь, в этой жизни, вой-

ны нет. Есть партнеры-мужчины, готовые дежурить вместе, а не спать на посту. Есть бизнес, который не город-жертва, а экосистема.

После регресса прошло три месяца. Вчера я получил от нее фотографию. Она вместе с новым бизнес-партнером (мужчиной) запустила образовательную платформу. Обороты выросли в пять раз. «Знаешь, — написала она, — я снова учусь плавать. Но теперь я не дозорный-одиночка. Теперь я знаю, что мой "корабль" может быть большим и красивым. И если я усну, кто-то другой подержит штурвал. Война закончилась».

Вот такая история, глубокая, как Марианская впадина, и яркая, как свет софитов. Память прошлых жизней — это не просто фантазия, это ключ к тем дверям, которые мы не можем открыть годами. Иногда для того, чтобы разрешить себе зарабатывать и любить, достаточно просто перестать воевать с тенями погибшего подводного мира.

Лаборатория света



Я поправил манжет рубашки и взглянул на нее. Алиса сидела в кресле, сжавшись, словно пыталась занять как можно меньше места. Под глазами — тени. Пальцы нервно теребили край пледа.

— Расскажи про сны, — попросил я, включая диктофон.

Она говорила долго. Демоны с горящими глазами, гигантские многоножки, роющиеся в земле, обсидиановые големы

и пыльные слоны цвета засохшей крови, которые шли на нее стеной. Из ночи в ночь. Без перемирий.

— Во сне я не убегаю, — тихо добавила она. — Я борюсь. Голыми руками. И просыпаюсь совершенно разбитой. Слово пахала всю ночь.

Я видел ее руки. Тонкие запястья, никакой физической силы. Но внутри шла война.

— Давай попробуем заглянуть за завесу, — мягко предложил я. — Закрой глаза. Дыши.

Погружение началось с сопротивления. Ее разум цеплялся за привычное, боялся отпустить контроль. Но потом дыхание выровнялось, лицо разгладилось.

— Что ты видишь?

— Свет... Очень яркий. Я стою... нет, это не я. Он.

— Кто он?

— Великан. Огромный. Выше гор. Вокруг него — ничего, только пространство. Звездная пыль. Он протягивает руки и... лепит. Лепит миры. Как ребенок лепит куличики из песка.

Голос Алисы изменился. Пропала привычная надтреснутость, появилась глубина, которой я раньше не слышал.

— Он один из тех, кто создавал Землю. Не Бог в религиозном смысле. Скорее... архитектор. Художник. Он смотрел на планету и видел ее как лабораторию, как мастерскую для великих душ. Он хотел, чтобы сюда приходили творцы, исследователи, мечтатели. Чтобы они воплощали идеи в мате-

рии. Это такой кайф — видеть, как мысль становится реальностью.

— А сущности?

Она вздрогнула, и я заметил, как по лицу пробежала тень.

— Он создал их сам. Для помощи. Понимаешь? Как мы сейчас создаем роботов и нейросети. Чтобы грязную, тяжелую работу делали не люди, не души, а... исполнители. Он вложил в них очень много. Сделал их высокоорганизованными, разумными. Как муравьиная колония. Слаженные, эффективные, иерархичные. Они должны были готовить мир к приходу больших душ. Чтобы те, придя в воплощение, не тратили время на выживание. Чтобы сразу начинали творить.

Она замолчала. Ресницы задрожали.

— Что случилось потом?

— Они... вышли из-под контроля, — в голосе зазвенела горечь. — Однажды они решили, что не хуже своих создателей. Что не обязаны подчиняться. Они основали свои цивилизации, свои иерархии. Но была проблема. Они не умели генерировать энергию. Они не творцы. Они — только потребители. Паразиты. Они могут присоединяться к тому, что создано, и высасывать из этого жизнь, но сами... пустые. И Земля для них стала раем. Здесь столько энергии. Столько силы.

— И что стало с великаном?

— Он понял, что натворил. И не смог смотреть на это со

стороны. Он решил спуститься в мир как обычная душа. Забыть себя. Воплощаться снова и снова, пытаюсь исправить то, что сломал. Но это не чинится снаружи. Система не переустанавливается нажатием кнопки.

Она глубоко вздохнула, и я увидел, как по щеке покати-лась слеза.

— Единственное, что можно сделать, — менять себя. Каждую жизнь. Меняя себя, мы меняем мир. Это как вирус в программе. Сущности — это вирус. А мы, те самые боль-шие души, приходим снова и снова, чтобы вернуть систему к заводским настройкам. К тому состоянию, когда здесь не было боли и страдания. Когда этот мир был местом чистой радости.

— Поэтому тебе снятся сущности?

— Да, — прошептала она. — Во сне я не сплю. Я сра-жаюсь. На тонком плане. Каждую ночь. Потому что помню. Где-то глубоко внутри, на уровне клеток, я помню, как долж-но быть. И не могу принять то, что есть. Эта внутренняя борьба... она всюду.

Я дал ей побыть в тишине. За окном шумел дождь. Тикали часы.

— Знаешь, — наконец произнес я, — это удивительная история. Потому что она объясняет то, что чувствуют мно-гие. Это постоянное напряжение внутри. Ощущение, что мы сражаемся с невидимым врагом. Что мир не такой, каким задуман. Но в этом и освобождение.

Она открыла глаза. В них больше не было страха. Только усталость и какое-то новое, спокойное знание.

— Я не могу уничтожить их всех, — тихо сказала она. — Но я могу перестать подкармливать их своим страхом.

Это и был ключ.

После сеанса она стояла у окна. Дождь закончился.

— Странно, — сказала она задумчиво. — Теперь, когда я знаю, что эти твари во снах — мое собственное творение, которое просто заигралось, я больше не боюсь. Я просто хочу вернуть свой мир домой.

Больше сны про сущностей ей не снились. Иногда она видела свет. Просто свет. Без формы, без имени. Как напоминание о заводских настройках. О том, каким все задумывалось.

Когда она ушла, я сидел в опустевшем кабинете. Дым от потухшей свечи поднимался тонкой струйкой. И я думал о великанах, которые ходят среди нас и даже не помнят, что когда-то держали в руках миры. Может, мы все здесь за этим. Чтобы вспомнить. Чтобы вернуть свет.

Я закрыл блокнот. На чистой странице осталось только одно слово. «Лаборатория».

Сердце испанского революционера



Она сидела напротив, закутанная в огромный шерстяной свитер, словно хотела спрятать свою худенькую фигуру от этого жестокого и несправедливого мира. Звали ее Диана, и ей едва исполнилось двадцать. Взрослые так часто говорят молодым про «юношеский максимализм», но когда я заглянул в ее глаза, то увидел там не каприз, а колодец древней, выстраданной боли. «Я не могу это терпеть, — сказала она тихо, комкая манжету. — Когда кого-то унижают при мне, у меня начинается физическая боль в солнечном сплетении.

Мир жесток, а я чувствую себя слишком... уязвимой перед этой жестокостью».

Я попросил ее лечь на кушетку и просто дышать. Я давно понял, что души, которые не переносят несправедливость — это не просто эмпаты. Это бывшие воины, которые пришли в новое тело, но забыли снять доспехи.

Глубина погружения была мягкой. Сначала — туман, потом запах. Запах пыли, раскаленного камня и дешевого красного вина.

— Меня зовут не Диана... — прошептала она, и голос ее стал ниже на полтона. — Меня зовут Диего. Мне двадцать четыре года.

Я попросил ее осмотреться. Мадрид. Или нет, Валенсия. Узкие улочки, выстиранное белье, натянутое между балконами, как флаги бедноты. У него была гитара за спиной и сердце, полное огня.

— Зачем ты вышел на площадь? — спросил я.

— Потому что народ должен жить как люди, а не как скот, — ответил Диего ее устами. — Власть не имеет права жрать золото, когда дети роются в отбросах.

Это был тот самый пыл, который я видел в Диане, когда она защищала обиженную однокурсницу или спорила с преподавателем о двойных стандартах.

Диего был поэтом баррикад. В той жизни он не носил эполет, его оружием были слова и краски. Он рассказал про Ла Комуна — свою маленькую ячейку свободных сердец. Они

собирались в подвале старого дома, где пахло плесенью и надеждой. Там была Она. Я почувствовал, как дыхание Дианы на кушетке стало глубже и теплее.

— Как ее звали? — спросил я.

— Лусия, — губы Дианы тронула улыбка, нежная и горькая одновременно. — У нее были глаза цвета крепкого кофе, а руки всегда в типографской краске.

Диего с Лусией рисовали плакаты. «Pan y Libertad» — «Хлеба и Свободы». Он писал для нее песни, брэнча на расстроенной гитаре. Это была любовь, замешанная не на розах и клятвах, а на общем риске. Они были счастливы именно этой остротой момента, ведь завтра любого из них могли схватить.

А потом настал тот самый день. Площадь Санта-Крус. Жара. Толпа гудит, как растревоженный улей. И вдруг — свистки. Конная полиция, серые мундиры гражданской гвардии зажимают толпу с трех сторон. Начинается давка, крики, звон разбитого стекла.

Диего видел, как Лусия уводит остальных в переулок, туда, где стоит повозка с сеном. Им нужно было тридцать секунд, чтобы раствориться в лабиринте трущоб. Тридцать секунд.

— Я отдал им себя, — голос Дианы стал хриплым. — Я выбежал в центр площади и закричал. Громче всех. Запел нашу песню про свободу, чтобы они все обернулись на меня. Он пел, а его хватали десятки рук. Били прикладом по

ребрам, по лицу, по пальцам, которые еще вчера перебирали струны для Лусии.

Допрос был в каменном мешке. Я видел, как тело Дианы на кушетке напряглось. Ей было больно. Я провел рукой над ее головой, снимая напряжение, но не прерывая контакт с той памятью.

— Они хотели имена. Они били меня бамбуковыми палками по ступням, — шептала она. — Но я видел ее глаза. Я улыбался. Я знал, что она успела увести наших. Моя смерть — это их жизнь. Это справедливо.

Начальник участка, старый садист с пышными усами, психанул. Диего не ломался, он улыбался окровавленным ртом. И тогда, чтобы унижить бунтаря, его решили казнить не расстрелом, как военного преступника, а как скотину — на старой гильотине во внутреннем дворе. «Вот тебе твоя свобода, щенок».

Самое удивительное — это момент казни. В регрессе он почти всегда самый яркий. Диана описала его не как ужас, а как невероятное облегчение.

— Я лежу, щекой на холодном дереве, — ее голос стал совсем тихим, почти эхом. — Солнце светит в глаза. И я не чувствую страха. Я думаю о том, как Лусия смеется, когда у нее нос в краске. Я счастлив, что ей не отрубят голову. Я счастлив, что она продолжит бороться. Ведь я ее люблю.

Она запела. В регрессе Диана замурлыкала мотив — простой, испанский, немного развязный, но полный достоин-

ства. Это была та самая песня, которую он пел на площади.

Хлопок. Тишина.

Диана замолчала. По ее щекам текли слезы, но она улыбалась.

— Я отдал голову, но не свободу, — произнесла она.

Мы лежали в тишине минут десять. Я дал ей время вернуться. Потом она села и долго смотрела на свои руки, словно видела на них невидимые следы типографской краски.

— Понимаешь, — сказал я, подавшись вперед и сложив руки на коленях. — Диего был героем. Но он погиб, потому что внешний бой закончился. Твоя душа принесла эту память в эту жизнь. Ты ненавидишь несправедливость, потому что в прошлый раз ты положила за нее голову. Это благородно, Диана.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.